

Вадим Жук

Такой человек

Вадим Жук

Такой человек

Москва
«Воймега»

2019

УДК 821.161.1-1 Жук
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
Ж85

В. Жук

Ж85 Такой человек / Вадим Жук. — Сост. Д. Тонконогов;
предисл. М. Чудаковой. — М.: Воймега, 2019. — 64 с.

ISBN 978-5-6042671-9-6

ISBN 978-5-6042671-9-6

© В. Жук, текст; 2019
© «Воймега»; 2019

«Со строчкою в зубах умру...»

В далёкие годы я много занималась литературной критикой. Но писала только о прозе — о стихах не писала. Две причины — во-первых, поэзия была частью моей жизни (как и Александра Чудакова, и нашей дочери) и мне трудно было привести себя в холодное состояние, необходимое для анализа. А во-вторых — я считала, что у меня тяжёлая рука... А поэты — существа тонкие. С ними надо бережно обходиться, даже если они пишут весьма слабые стихи.

Потому не ищите в этом тексте стиховедения. А кому оно нужно — берите книгу Михаила Леоновича Гаспарова «Русские стихи 1890-х — 1925-го годов в комментариях» — там и найдёте всё, что вам нужно... Моё же стиховедение сводится к нескольким фразам. Они — ответ на более чем столетний разгул литературоцентризма в России (сейчас, слава Господу, съёжился), когда поэту стали навязывать и роль пророка, и политолога, и Бог знает что ещё, и можно было услышать, что Пушкин, мол, не любил поляков — и нам, грешным, вроде бы можно... И не являлась почему-то мысль, что вы, мол, сначала напишите «Евгения Онегина», а потом уж не любите...

Так вот — в книжке, адресованной непосредственно коллегам-словесникам (в первую очередь школьным учителям: «Литература в школе: читаем или проходим?»), я предлагаю, вслед за выдающимся филологом Б. М. Эйхенбаумом, из сорока пяти минут урока тридцать отдавать чтению классики вслух.

А до сознания учащихся, полагаю я, необходимо донести про великих наших поэтов и писателей всего две мысли, и одна из них такая:

ПОЭТ НАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН, КРОМЕ СВОИХ СТИХОВ.

Небольшая коллекция замечательных строк из этого сборника: «И ночь придёт мнооочитая», «Как хорошо на Родине. Как тихо. Ни птицы, ни машины, ни ручья».

Спешу, река, беги, река,
В воде мальков картечь.
Убрал кавычки-берега,
Течёт прямая речь.

Вот что такое поэзия — когда «река» и «речь» естественным образом соединяются!

И можно так сидеть века,
Читая облака.
Пока рифмуется закат,
Пока тепла строка.

«Пока тепла строка» — это ж заплакать можно, люди добрые, ценители родной речи и русской поэзии!

Вот стихотворение — обозначим его первой строкой: «Ангелы не меряются крылами...» Вот его последние строки, говорящие сами за себя:

И неважно, на каком он фланге
И в каком он звании и ранге,
На каком он Божьем этаже.
Потому что ангел — это ангел.
Просто ангел. *Сразу и уже.*

Курсив — мой. А стихи — на мой вкус, замечательные, — Вадима. Если задаться целью придумывать определения, можно сказать — *аксиомы души*. Можно и вовсе ничего не говорить — только перечитывать.

Вот название стихотворения — «Отвори потихоньку». За двумя этими словами — два мира. И оба — в России... Один — полностью отменённый и затоптанный другим, последующим.

На июньских кустах выросли романы в саду,
Кружева трепетали, застенчиво пели калитки...
.....
И, срастаясь ветвями, деревья плели ерунду.

Ю. М. Лотман ввёл когда-то ценное понятие «сегментации аудитории». Читательская аудитория этого стихотворения сегментируется — для малой уже (увы!) её части за этими строками проступают строки знаменитого с конца XIX века романа:

Отвори потихоньку калитку
И войди в тихий садик, как тень...

Не просто строки – это проступают очертания утонувшей Атлантиды. Того мира, где пели и слушали романсы (наша мама, обладавшая прекрасным голосом и слухом, неизменно исполняла «Калитку» в семейных застольях), скоропостижно сменённые звуками иной речи – иного, совершенно нового мира:

Наш паровоз, вперёд лети!
В Коммуне остановка,
Иного нет у нас пути –
В руках у нас винтовка!

Вадим Жук – большой мастер вовлечения нас в Большой Контекст русской поэзии.

Вот есть строфа у Пушкина:

В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.

И что делает с этим наш современник? (Зуб даю – Пушкин бы весело хохотал.)

В дешёвом креплёне, в креплёном вине,
И имя вульгарное – Муза.
Являться она полюбила ко мне
На вольных просторах Союза.
.....
Она на колени садилась ко мне.
Средь шатких мольбертов чужих мастерских
С глазами берлинской лазури,
Под хохот товарищей бедных моих
От левой копеечной дури.
.....
И речи взахлёб, и потерянный взгляд,
И тусклые джинсов заклёпки.
Навеки колени мои сохраняют
Тепло её маленькой жопки.

Поэт – хозяин родной речи. И он показывает нам – куда годится это полуцензурное русское словцо. И оказывается – вот как годится!

...С филфака МГУ выучила – поэта судят по его вершинам.
И какие же сильные есть у Вадима Жука строки! Берут за душу
на грани слёз – и не отпускают:

И карусельные лошадки-китайночки
Уж больно по-шанхайскому косят...
Верни мне горевую чернореченьку,
Почти два века вспять поворотив...

.....
Там получилось всё по-настоящему,
Там смуглая впечатана щека
В несбывшееся и несостоявшееся,
В затоптанную корпию снежка.

На этом и закончу – на ноте, выше которой в России и не взять...

Мариэтта Чудакова,
член Европейской академии

* * *

Я заигрался. На дворе темно.
Всё, чем играю, предо мной разложено.
Вот чёрно-белые костяшки домино,
На негативы черепов похожие.
Шлагбаум планок орденских отца,
Детали отписавших авторучек,
Обломок от портьерного кольца,
От проданного пианино ключик.
Всё розное. Не дружная семья,
В которой всё друг друга дополняет.
И только лишь фантазия моя
Их объясняет и объединяет.
Родителей нет дома. Во дворе
Заводят мотоцикл безуспешно.
Мне хочется не быть в моей игре,
Но ключик в портсигар несёт депешу,
Ломая строй, сдаётся домино,
Змеёй верёвка тянется на сушу,
И мир, непозволительно иной,
Девятилетнюю терзает душу.
В какой момент он стал тебе чужим?
Ведь ты его творец, его хозяин!
Но заоконный мрак неудержим
И через подоконник заползает.
И мотоцикл перестал рычать.
Забыто всё — кровать, уроки, ужин.
И лучше затаиться и молчать,
А крикнешь — будет хуже, только хуже.

* * *

Накрыли прозрачные шали
Бульвары, ограды, дворцы.
Не строили, а надышали
Тосканских долин беглецы
Бегущих домов перелески,
Берущих пространство в полон,
Где выпуклых стенок черкески
Спят газырями колонн,
Где вьётся от уст и айфонов
Весёлый морозный парок,
Где шумно летают грифоны,
Желая согреться чуток.
И бедные воды каналов,
И трубный раскат площадей...
Откуда б тебя ни пригнало –
Гляди, удивляйся, владей!
Оставь моим тайным владеньем
Незримый для взора уже
Заснеженный двор на Литейном
И свет на втором этаже.

* * *

Внутри у тела этажи,
И ниже – выше,
Душа там дышит и бежит,
Бежит и дышит.
Стучит мотор, струится кровь,
Душе не важно.
Она незрима, как микроб,
Бежит отважно.
Взлетает с первого душа
Аж до восьмого,
Чтоб ты не очень совершал
Чего плохого.
Чтоб никого не обижал
И в час полночен
Ты от того не уезжал,
Кому не очень.
Душе над пропастью во ржи
Не быть иначе.
Она всё дышит и бежит,
Бежит и плачет.

* * *

До пункта Б ещё далековато.
И ничего понять я не сумел.
Но Руфь Петровна в платье мешковатом
Уже с доски стирает мел.
Я вижу – по пути идёт обходчик,
Там, в домике его, и чай, и дочь.
Я всё решу! Я доберусь до ночи
В желанный пункт. А вот и ночь.
Как радостно трубят автомобили
Всего в пяти шагах от полотна!
И все забыли, все тебя забыли
В покинутом навеки пункте А.

* * *

Всё длится. Изо всех античных сил,
Как страшная ожившая колонна,
Ещё бежит за Гектором Ахилл,
Чертя круги вокруг Илиона.
Ещё Давидовой пращи
Жужжит пчела вдоль небосклона.
Ещё не хрустнули хрящи
На белом горле Дездемоны.
Ещё и горю и уму
Дорога в рудники прямая.
Ещё идёт ко дну Муму
И ничего не понимает.

* * *

Я и не помню... Давид и Вирсавия.
Что там Вирсавия? Где там Давид?
Пушкинским рыцарем пересыпаю
В бледных ладонях родной алфавит.
Чудо звучаний! Ахилл и Патрокл,
Брут и Антоний, Амун и Амсет.
Звуки, как реки, сбегают с отрогов
Царственных мифологических лет.
Я не учёный. Ацтекский, аттический,
Тюркский, варяжский ли лад звуковой...
Внеисторический вальс фонетический,
Влажный, фаллический, вольный, живой...

* * *

Горемычное дерево бледную ищет зарю,
Чтобы добавила горечи в горькое тело плода,
Дерево это приносит плоды к декабрю.
И не цветёт никогда.
Дерево копит беду и печали весь год,
Ходит по весям, скитается по городам,
Ждёт и таится, декабрь наступает – и вот,
Время явиться плодам.
Клюнет ли птица – теряет способность летать,
Зверь ли надкусит – навеки впадает в тоску,
Ветви покажут рукам, как петельку сплестать,
Пуле – дорогу к виску.
Мóлодец, не выходи с топором поутру,
Только отскочит и ранит тебя лезвиё.
Заговорённую не потревожит кору
Горе-усилье твоё.
Лемех терпенья, отваливай времени пласт,
Мельница-нежность, дроби горемычные дни.
Даже они исчезают, ведь правда, Экклезиаст?
Даже они.

* * *

Поэт подвальный, некогда опальный,
Выходит из дому четыре раза в год,
Буквально как журнал ежеквартальный.
Неясно, что он ест и как живёт.
Он некогда царил в своей котельной
Или напутствовал лопатой снег.
Перебывая гордо век метельный,
Он думал, что обманывает век.
Могли им малолетки увлекаться,
Он брал их на креплёное вино.
Хранит три листика двух публикаций
В журналах, в вечность канувших давно.
Из множества стихов осталась малость.
Так, скажем, — на одностраничный том.
Да, собственно, одна строка осталась,
Приписанная Бродскому притом.
Заходят с правнучками малолетки,
Протёртые, прожитые дотла.
Приносят безобидные котлетки
Из бедного семейного котла.
Он ставит настоящие пластинки,
В минувшую вперяясь полутьму.
Он мне и нынче, и всегда противен.
И очень я завидую ему.

* * *

Московский снег язык таджикский понимает,
Как приручённый белошёрстный пёс.
Он сквер покрыл. Он тротуар занёс,
Учебник геометрии ломая.
Предутренный он освещает мрак,
Живущая с годов пятидесятих
Плечистая совковая лопата
Ему, простосердечному, не враг.
Собравшиеся в радостный комок,
Летучие снежинки-балеринки
Игольчатые подставляют спинки,
Как маленькие кони под скребок.
Красивый дворник поднимает взор,
В нём горького изгнанничества опыт,
Пушистый белый горнолыжный хлопок
И бедной дальней родины разор.

* * *

Утром меня отводят в детский сад.
Я стараюсь вести себя хорошо.
Нина Павловна не отделяет меня от других ребят
И разрешает мне не ходить на горшок.
Я слушаюсь и хорошо кушаю,
В тихий час стараюсь не храпеть.
У меня есть собственный шкафчик – с грушею.
Терплю, когда заставляют петь.
Полдня я не слышу пошлостей, и ругани,
И про выборы – целых полдня!
В четыре за мной приходит супруга
И домой забирает меня.
Я прощаюсь с Агашей и Никешей,
Прячу в шкафчик мячик и пистолет.
А на танцы я не хожу, конечно.
Какие танцы – мне семьдесят лет.

* * *

Разве мама любила такого...

В. Ходасевич

С головою, измазанной мелом,
Со страдальческим старческим телом,
С барабанною дрожью в руках,
Сходством хоть бы и сантиметровым
Схож ты с прошлым — на ветке сосновой?
С раздающим себя Казановой?
С этим — смуглым — в балтийских песках?
Разве голос твой, жёлтый и тусклый,
Проходящий походкою узкой
Коридорами прожитых лет,
Станет снова рапирным и звонким,
Догоняющим лезвием тонким
И девичьих ушей перепонки,
И противника грубый колет?
Ты, прошедший незримые тюрьмы,
Изменён до последнего дюйма,
Ты, живущий, конец торопя,
Нелюбовью и мудростью скован...
Только мама любила такого,
Ей тогда неизвестно какого,
Но такого любила. Тебя.

* * *

Опираюсь на подоконник
Ночного окна.
Где слоник?
Кто взял седьмого слона?
Самого маленького. Я готов
Признать, что семерым на спинах трёх китов
Тесно. Я-то готов. Но речь идёт о Земле.
Каково ей в бесконечной мгле
Чувствовать неуверенность? Без запасного.
Маленького, смешного.
В мятой попоне. Любимца стада.
За окном прохаживается прохлада,
Не подозревающая о катастрофе.
Выйти на кухню. Сварить кофе.
Увидеть на пачке чая слоника!
Назад к подоконнику! Комната сломана
Жёлтым лучом треугольной луны.
Киты бьют хвостами! Кричат слоны.
Шесть страшных хоботов! Боже мой!
Кто это сделал? Где седьмой?
Кто-то увёл из дома слона.
Что будет — чума, наводнение, война?

Отвори потихоньку

На июньских кустах вырастали романсы в саду,
Кружева трепетали, застенчиво пели калитки,
На устах возникали признаний текучие слитки,
И, срастаясь ветвями, деревья плели ерунду.

Расстегнуть это всё невозможно! Трещали шнуровки,
Проходил с колотушкой сторож. Прорвало сову.
И, вращая глазами от ужаса, божьи коровки
Поджимали надкрылья, сбегая в сырую траву.

Вообще, было сыро. А во флигель вселился Тригорин.
Или, как его, Бунин... Сирень отвлекала жасмин...
В дом неслышно пробраться и не наскрипеть в коридоре,
А наутро лететь по тропинке на поезд к семи!

Как готовы позировать шишкинской кисти сосёнки!
Как не хочет сдаваться, белея в лесу, первоцвет!
Это на Соловках вспоминал на расшатанной шконке
Инженер. Враг народов. И смеялся! Такой человек.

* * *

Ангелы не меряются крылами.
Не сжигает дизельное пламя
Ангельскую душу херувиму
В зависти и злобе к серафиму.
И неважно, на каком он фланге
И в каком он звании и ранге,
На каком он Божьем этаже.
Потому что ангел – это ангел.
Просто ангел. Сразу и уже.

* * *

И, обратив глаза к реке,
Ты вдруг увидишь вдалеке,
Увидишь лёгкий силуэт
За гребнем жёлтого откоса.
Ты смотришь вдаль и ждёшь ответ,
Но даль молчит – ответа нет,
Ведь ты не задавал вопроса.
Молчанье неба и воды,
Громада неба и воды,
Спокойствие воды и неба.
Ты видишь на воде следы,
Ты знаешь, чьи это следы,
Бежит и пенится поток,
Гляди и думай, что никто,
Никто здесь не был.

* * *

Как холоден ветер с лесистого склона,
Какие я долгие помню стихи,
Как пахнет ефрейторским одеколоном,
Какие ж на наши доходы духи.
Как ночь прозвенела трамвайным монистом,
Последним за тёмной Поклонной горой,
Как в мире божественно, как в мире чисто,
Как брюк моих бедных уродлив покрой.
Как яблочный змий притаился на иве,
Как светят окраинные этажи,
Как страстен Есенин, как Бальмонт наивен,
Как с каждой минутой кончается жизнь.

* * *

Всё это чудо – затея с планетами,
Время, пространство, зияние вечности...
...Зелень матерчатая огуречная,
Девочка в плюшевом, мальчик в вельветовом.

Нет Вавилона, и Троя разрушена,
Войны летят с безголовою Никою;
Мальчик в вельветовом, девочка в плюшевом,
Мама зовёт на веранду с клубникою.

Память моя и любовь беззаветная,
Вот же – с неровным пробором головка!
Девочка в плюшевом, мальчик в вельветовом,
Божья с ладони взлетает коровка.

* * *

Родился я среди северных широт,
Не зная разницы между зимой и летом,
Под взглядом ледяным балтийских вод.
Здесь странно было сделаться поэтом.
Потом открылась милая страна,
Явились женщины с их невозможным светом.
Язык деревьев, звери, вкус вина.
С чего бы вдруг не сделаться поэтом?
И вот теперь себе и миру вру,
Что знаю по неведомым приметам:
Что я со строчкою в зубах умру —
Умру поэтом!

* * *

Помнишь? Маялись, недоедали,
С гневом в чёрный глядели экран
И в подушку рыдали — страдали
За народы неразвитых стран.
Всё бы отдали этим народам,
Если б было чего отдавать,
Борщ идти не хотел пищеводом
От желания протестовать.
Жёнка вымоет шею и пятки
Под живительным майским дождём —
И туда ж: «Заходите, ребятки,
Вы там это... Мы вас подождём».
Отцвели гуманизма зарницы,
Не печёмся теперь ни о ком,
Искажённые радостью лица
Не даёт под расписку профком.
Знамя интернационализма
За белёсый поставлено шкаф,
А какая всплывёт кондолиза,
Нам она супостат, а не в кайф.
Мы покроем вас шахом и матом,
Синим газом заполним эфир,
И замажет вас чёрным квадратом
Самый русский поляк — Казимир.

* * *

Грановито пожил, даровито,
И ругаться вослед не с руки.
Помер, значит, Иосиф Давыдыч,
Золотые отбросил коньки.
Отходил по кремлёвским палатам,
Отлетал над покорной страной,
С депутатским красивым мандатом,
В жёсткой шапочке волосяной.
Выбрал, значит, вокальную квоту,
Огорчил коверкотовых муз.
Потерял предпоследнюю ноту
Голосистый Советский Союз.
До чего был уместный и местный!
Как умел временам угодить!
Ну а голос, конечно, чудесный,
Редкий голос, чего говорить...

* * *

В дешёвом кримплене, в креплёном вине,
И имя вульгарное – Муза.
Являться она полюбила ко мне
На вольных просторах Союза.
В те давние дни, в те недавние дни,
Которых доселе не гаснут огни.
Я гнал её в дверь и в печную трубу,
Выкуривал дымом и смехом,
Гулёну, неряху, зануду, рабу,
Нелепицу и неумеху.
Я гладил её по ребристой спине,
Она на колени садилась ко мне
Средь шатких мольбертов чужих мастерских,
С глазами берлинской лазури,
Под хохот товарищей бедных моих
От левой копеечной дури.
В те давние дни, в те недавние дни,
Которые нынче поди отмени.
И речи взахлёб, и потерянный взгляд,
И тусклые джинсов заклёпки.
Навеки колени мои сохранят
Тепло её маленькой жопки.
Среди суеты, болтовни, беготни
В те давние дни, в те недавние дни.

* * *

На октябрьские купим вина и нажарим картошки,
Будет докторская, кузнецовские синие плошки,
Будет мсье Оливье с довоенной серебряной ложкой,
Даже торт-пraliне.

Я за локоть словлю Лактионову Анну,
Уведу эту Анну в коммунальную ванну,
Где вода коммунальная каплет из крана
И тазы на стене.

На октябрьские когти разжала железная школа,
Ты ложись мне в ладонь, небогатая грудь комсомола,
Но сперва о шестнадцати тоннах споёт радиола,
Будет выключен свет.

Это было ещё до великой эпохи колготок,
Кто-то звал, как ты помнишь, по пути до калитки кого-то,
Это Анна и ты на плакучем расплывшемся фото
До шестнадцати лет.

На октябрьские девственность зря уповала,
За окошком империя околевала,
Петроградская осень, холодная, как «Калевала»,
Ледяная вода.

До прихода родителей будет помыта посуда,
Чёрный ход с ускользящим запахом детского блуда,
Дай мне руку. Уходим, подруга, отсюда
Навсегда.

Вечерний пейзаж

Уже недалеко до майских гроз,
До молодого тютчевского грома.
Но лес выносит сосны на откос,
Как вещи из разграбленного дома.
Песок желтеет, зеленеют мхи,
Со всем живым в отчаянной размычке,
Самоубийцами бросаются стихи
Под брюхо истеричной электричке.
И кажется, в заводе на века,
Тоскливое «ку-ку» выматывает силы,
И медленно бежит закатная река,
Как кровь из отворённой жилы.

* * *

Когда меня из жизни выдует
И окажусь на сквозняке.
И смерть заявится не выдумкой,
А чуть не с ордером в руке.

Своим привычным «не упрочено»
Заглянет прямо в очи мне
Квадратный квартуполномоченный
С опрятной сумкой на ремне.

Когда меня из жизни выселит
И станут новые жильцы
Бродить меж лестничными высями,
Прося курить или сольцы.

Всё барахлишко в стопку сложено,
Ни ночи больше нет, ни дня.

Хоть лифтом прошуметь, хоть дождиком,
Чтоб ты услышала меня.

* * *

А как пали-упали большие снега,
С головою накрывшие стихотворенье,
Бабы Шуры белей молока-творога,
Ничего, что я это пишу ударенье?
Ничего, ничего, ты свернись калачом
И гляди не гляди на белёные стены.
А головушку мне положи на плечо,
Наша птичья любовь, наша птичья измена.
У певучей калитки колечко в носу,
Припозднившийся клён потерял рукавицы.
Кто так горько кричит в придорожном лесу?
Мы с тобою в доме. Значит, зверь или птица.
Надо всех пожалеть, и беднягу врага,
И забывшего дружбу недавнего друга.
А как пали снега, пуховые снега,
И затихла округа.

* * *

Слышишь, шали прошуршали
На аллее с вязами.
Глупым детям помешали
Глупости показывать.
Вяз шершавый, вяз шершавый,
Долгожитель парковый,
Ты узнаешь ли под шалью
Антонину Марковну?
Ах ты, Тоня, моя Тоня,
Божие творение.
Муж в могиле, сын в Бостоне —
Ищет ударение.
Не позвал к себе ни разу,
Занятый науками.
Стали молодые вязы
Тониными внуками.
Только жестковата кожа
У дерев-младенчиков,
Не читать им про Кокошу,
Не носить леденчиков.
Луч слепит и в сердце колет
Под зелёной аркою.
Умирай скорее, что ли,
Антонина Марковна.

* * *

Давно набила кислую оскомину
Картинная, вся из себя сама,
Шаляпинская пёстрая московская
Да киномихалковская зима.
Все саночки-бараночки – обманочки,
И фальшаки на ёлочках висят.
И карусельные лошадки-китаяночки
Уж больно по-шанхайскому косят...
Верни мне горевую чернореченьку,
Почти два века вспять поворотив,
Ту, что завывала враз по-древнегречески,
По-болдински, по-псковски – на разрыв.
Там получилось всё по-настоящему,
Там смуглая впечатана щека
В несбывшееся и несостоявшееся,
В затоптанную корпию снежка...

* * *

Одинокий поезд на мосту,
Лес разбужен невозможно рано,
Кое-как прикрывший наготу
Нищенскими клочьями тумана.
Только-только хвастали дома
Разноцветьем Павлова Посада...
А сегодня говорит зима
Словно бы себе сама: «Не надо».
Поминутно на часы глядит,
Прячет губы и отводит руки,
Будто не маячат впереди
Три студёных месяца разлуки.
Белый заточили карандаш,
Праздный осенью, ненужный летом.
А вокруг пейзаж. Один пейзаж,
Съевший натюрморты и портреты.

* * *

Дождаться – упадёт звезда,
Но оживёт, не разобьётся.
И непослушная вода
В стакане зимнего колодца.
Идти за хворостом не надо,
Грохочет в небольшой печи
Прирученная канонада
Сухих поленьев. И звучит
Из старого магнитофона
И растворяется в ночи
Прокофьев? Ну, пускай Прокофьев.
И безымянная кричит
Большая птица за рекою,
Над толщей ледяной воды.
И ей, создатель, дай покоя,
Отрады, радости, еды.

* * *

Мне бы домик подле храма
У столетья на краю,
Мне бы томик Мандельштама
Да садовую скамью.
Мне бы лёгкого соседа –
Муравья и воробья,
Полупьяную беседу
О повадках бытия.
За окном глядятся в воду
Облака и фонари.
Мне бы тихую свободу
Не снаружи, так внутри.

* * *

Канторка висилась, как аналой,
Писали стоя, уважая слово.
Гордилась печь узорною заслонкой,
Всерьёз встречалась нить с иглой.
Для поцелуев выбегали в сад,
Где сами по утрам траву косили.
И к слову «пролетариат»
Лояльно и спокойно относились.
Авдотьевна умела кружева,
Панкратьевна умела кулебяку.
Котились кошки. Бык жевал.
Хозяин на ночь выпускал собаку.
По звону знали — загулял звонарь.
Все обсуждали Ольгу и Татьяну.
Слетались мошки на фонарь,
Съезжались гости к фортепьяно.
Стремглов читал «Ту би ор нот ту би»,
На всех хватало пунша и орехов.
Всё это Чехов от души любил,
Всё это ненавидел Чехов.
И платья были подвенечней.
И жизнь конечней.

1961

Вместо этих распевок собачьих,
Вместо жёлтых и серых дорог
Мне бы водочки у водокачки
Из фаянсовой чашки в горох.
Мхом подножья деревьев одеты,
Ствол сосновый смолою потёк,
Мы с тобою ещё полудети,
Мой курносый товарищ Витёк.
Мы невинны с тобой, как Иосиф,
Мы наивны с тобой, как Исав.
День кончается. Просека. Просинь.
Прозябанье неведомых трав.
Приняла неумелая глотка
Две порцайки по сто двадцать пять,
Здесь какая-то, что ли, высотка?
Что ли, дали приказ наступать?
Ветер лижет заштопанный свитер,
Нет ни горя ещё, ни ума.
Вот и жизнь начинается, Витя,
Прямо здесь, у подножья холма.

* * *

Не оглянешься, как эти годы
Под переводное «Никогда!»
Бесконечности поглотят воды,
Всё пройдёт, как облаков гряда.
Ладно. Ветер веет. Солнце греет.
Вот живём. И значит, жить должны.
Только бы потом про наше время
Не сказали: «Это до войны».

* * *

У нас пригрелся новый год.
А за окном, а там
Бугристой улицей идёт
Продрогший Мандельштам.
Деревья мёрзнут до кости,
Скамейки и авто.
Ему идти, ему нести
Бугристое пальто.
Пройдут и сменятся года,
Другой возникнет вид.
Он будет там идти всегда.
Покуда мир стоит.

* * *

Дорога высветляет облик, имя.
С вагонной мельтешней, с набором высоты
Становятся милее и любимей
Очищенные скоростью черты.

Такое у неё, должно быть, свойство,
Лети, стучи колёсами, плыви –
Дорога как зарядное устройство
Любви.

* * *

Я на медные деньги учился,
Научился над строчками плакать,
Грустить – у мамы, хрустеть – у чипсов,
Свистеть – у раков.
Я работал актёром в Сибири,
Получал в самолёте получку.
Я говорил: «Ты всех лучше в мире»
Трёх сотням лучших.
Мне две тысячи микрофонов
Подставляли щёки под губы.
При мне ходили в обход законов,
Давали дуба.
Меня пели на плоском виниле,
Меня били в лицо и по почкам,
Я плавал в Чёрном, тонул в чернильном,
Валялся в сточном.
Я разумное путал с вечным,
Я играл в преферанс и словами.
Я непременно за всё отвечу.
Но вместе с вами.

* * *

С утра — домашний или уличный,
Я, ни о чём не беспокоясь,
Вступаю в день, деньской и будничной,
Как в ненаписанную повесть.
День длится, тянется, дурачится,
Он входит сам себе в привычку.
Давай, давай переворачивай
Отшелестевшую страничку.
Могу я, кстати ли, некстати ли,
По воле случая и Бога,
Побыть писателем, читателем
И даже критиком немного.
И ночь придёт темноочитая,
И, отшумевший, втихомолку
Покорно встанет день прочитанный
На потеснившуюся полку.

* * *

Жизнь идёт и шла одним манером,
С болтовнёю про особый путь.
В нашем мире чёрно-бело-сером
Ни к чему цветному не свернуть.
Но, порошу скушную ероша,
Словари презрев и буквари,
Человек проходит как калоша —
Красный и весёлый изнутри!

* * *

И Царским Селом, и орлиным пером,
И женских волос золотым серебром,
И гулкой кукушей заплачкой...
Свернётся с дороги, пойдётся легко,
Свернётся осенних небес молоко
И детского тела калачик.
Найдётся потерянный в детстве пятак,
Теперь-то в метро пропускают за так.
...Белея игрушечным паром,
Игрушечный поезд идёт и гудит,
Игрушечный Вронский на поезд глядит,
И Анна на рельсах в обнимку сидит
С взаправдашной Барби.

* * *

В дальнем свете, на другой планете
В солнечном тихоне сентябре
Прикопала девочка секретик –
Стёклышки цветные во дворе.
С кителя морского золотинка,
Сложенное вдвое письмецо,
Целая почтовая картинка,
А на ней Стриженова лицо.
Долгих лет и вовсе не бывало,
Ты ведь помнишь, девочка моя,
Ты вот здесь в сандаликах стояла,
За скамейкой семилетний я.
Взял да раскопал твоё письмишко,
Светит в каждом стёклышке звезда!
А письмо про зайку и про мишку.
Ерунда. И с грамотой беда.
В сквере клён невероятно вырос
С молодой кудрявой головой.
Ничего у нас с ней не случилось.
А Стриженов до сих пор живой.

* * *

День останавливает бег.
И, медленный и некрасивый,
Идёт какой-то человек
По кромке серого залива.
Он напряжён и диковат,
Влажны песчаные уголья,
И не ему принадлежат
Пласты и срезы мелководья.
Он в мыслях среди тех морей,
Где синь и зной, Гоген и манго,
Над ним проносится Борей,
А он решил, что это ангел.
И, глянув в зеркало небес,
Но не признав свою ошибку,
Он улыбнулся сам себе
Почти безумною улыбкой.

* * *

Ты говоришь: придут лихие дни,
Не люди, а века столкнутся лбами.
Постой! А это разве не они
И рвут меха, и клацают зубами?
Как стонет, ноет наливной баян,
Как тянет, манит в степи Забайкалья!
И ничего не стоит жизнь твоя,
И дрянь поводит толстыми боками.
Белёсым мороком накрыт залив,
Песок прибрежный заплывает глиной.
И катит, катит на гору Сизиф
Щербатую таблетку пенталгина.

* * *

Вот из этих краёв, где застали меня,
С сожаленьем, с тревогой, с любовью
Сообщаю – что к вечеру этого дня
Сократилось моё поголовье.
Ни гнезда мне не свить, ни звезду мне словить,
Ни хулы мне и ни панегирика,
Мне бы только бы губы стихами кривить,
Эту хворь называя «лирика».
Отвяжись, откажись, обменяй, отменяй!
С каждым мигом наглей и яснее
Эта Красная книга, где прячут меня,
Всё краснее, краснее, краснее.

* * *

Слова, как пудовые гири, верны.
О. Э. М.

До чего ж неохота пудовых,
Ходовых, довоенных и новых.
А охота, чтоб тихое слово
Приходило граммово, дюймово.
Чтоб с лентою жило, с хитрецою
И чихало от встречи с пыльцою.
И с пушком молодым доставалось «люблю»
На лету мотыльку, на облёте шмелю.
Чтоб не этот глухой головастик
С неподъёмной охапкою свастик,
А большая, как лист, человечья рука,
Как ребёнка, купала в реке облака.
Чтоб не вечная эта облава,
А объятье, достоинство, слава.

* * *

Всегда есть память и вина.
К тебе, не ждущему подвоха,
Подходит и лишает сна
Необъяснимая тревога.
Июльский день, закатный мёд.
Она тебя за ворот словит,
За пальцы зябкие возьмёт,
Глаза меж строчек остановит.
Проявит в стынувшей душе
Забывтый образ, старый снимок.
Как трещинка на витраже –
Черна, темна. Необъяснима.

* * *

На просторы двенадцати метров
Коммунального злого жилья
Из окошка влетали кометы,
Приносили пыльцу бытия.
Ели с рук. Улыбались. Жалели.
И смущались идти в туалет.
Обещали вернуться к апрелю,
Не бывали по несколько лет.
А потом из Иркутска, Парижа
Каждый раз — как единственный раз.
Я, похоже, без них бы не выжил.
И, наверное, каждый из нас.

* * *

Феликсу Чечу

Надёжный быт больших стихотворений —
Многооконный дом, вечерний свет.
Где, обстоятелен, как Алексей Каренин,
Живёт и развивается сюжет.
А нам с тобой охота торопиться,
Где восемь строк, где целых двадцать строк.
Так школьник, написавший пол-страницы,
Считает, что уже готов урок.
И ну во двор! Там детские интрижки,
И детская любовь, и смех, и плач,
Там из двенадцатого дома Рыжий
Заплатанный выносит мяч!
Порвать рубаху, ободрать колени —
И к мамке, под собой не чуя ног.
Но наглотаться новых впечатлений
На восемь строк, на целых двадцать строк!

* * *

Человеку плавать не пристало.
Это вниз по эволюции ступенька.
Ползать по воде на четвереньках –
Словно шаг вслепую с пьедестала.
Как это? Создатели Сикстинской,
Духом от Творца неотделимы,
Вертятся, как жалкие сардинки,
Ёкают печёнкой, как налимы.
Падки на примеры мы плохие!
Нам же объяснили популярно,
Что движенье перпендикулярно
К скользкой, чужеродной нам стихии.

* * *

Волн сияет черепица,
Лишь в углах таится мгла.
Что же ты, моя синица,
Взглядом море подожгла?
Ты смотри – какое горе,
Разгорелось от души!
Где нам взять другое море,
Чтобы море потушить?
А в ночи, как габариты,
Засверкают маяки.
И Венера с Афродитой
Заплывают за буйки!

В конце лета

Лопух облапил листьями забор,
Лес хрупкими поганками утыкан.
Ни малость не краснеет помидор,
Застукан с забрюхатевшею тыквой.

С загадочной улыбкой на лице
Большие дети не читают книжки,
Купаются в зацветшем озерце,
Докручивают летние интрижки.

Жуют свои мобильные звонки,
За белой кукурузой ходят в поле,
Сминают жестяные банки и
С весёлой ненавистью говорят о школе.

* * *

Лес заткан узкими тропинками,
Корней сосновых узелки.
И мы с тобой, как мат запиканный,
Ни ходоки, ни грибники.
Два самодельных самомнения
С заросшей мхами головой,
Два пожилых местоимения
Средь речи пёстрой и живой.
И муравей на нас, непрошенных,
Под незначительным пеньком
Глядит с улыбкой настороженной,
Поставив лапу козырьком.

* * *

Как хорошо на родине. Как тихо.
Ни птицы, ни машины, ни ручья.
Беззвучная черкнёт звезда-франтиха,
Да и умчится в тёплые края.
И славно, что не очень говорится,
И день погас. И тьма не тяжела.
...Поговори со мною, половица,
Спокойной ночи, что ли, пожелай.

* * *

Сперва сказала акушерка: «Парень».
Потом отец уволился в запас.
Потом червей в коробочку копали.
Потом седьмой. Потом десятый класс.
Кривые строчки. Тесные ботинки.
Над пропастью. Во ржи. Лавиной Блок.
Театр. Ещё театр. Полтинник.
Замеченный случайно ангелок.
Сосновый лес. Сплошное Бологое.
Куда-нибудь. Давай куда-нибудь.
И это утро. Бледное, худое,
Боящееся на себя взглянуть.

* * *

Старик лежал. Старик жужжал.
Не сам. В руке старик держал
Электробритву производства Нидерландов;
Тарелка с недоеденной баландой
На тумбочке стояла. Только что
Сестра свалила с полною шаландой
Таблеток. А старик лежал,
Но взглядом никого не провожал.
Он плыл на остров имени Ватто,
Куда-то в Анды или к Самарканду,
В края любви и дынь. Он умер. Он разжал
Ладонь, но бритва всё равно жужжала.
Побриться он успел. Он вдаль глядел.
Он за пределом узнавал предел,
И вся вселенная ему принадлежала.

* * *

Плечом к плечу, в руке рука,
У зеркала реки,
Давай, подруга, посидим
На краешке строки.
Спеши, река, беги, река,
В воде мальков картечь.
Убрав кавычки-берега,
Течёт прямая речь.
А что мы, милая, речём
Под тихий плеск, вдвоём?
Ты чувствуешь моё плечо,
Я чувствую твоё.
И можно так сидеть века,
Читая облака.
Пока рифмуется закат,
Пока тепла строка.

Содержание

| | |
|---|----|
| <i>М. Чудакова. «Со строчкою в зубах умру...»</i> | 3 |
| «Я заигрался. На дворе темно...» | 7 |
| «Накрыли прозрачные шали...» | 8 |
| «Внутри у тела этажи...» | 9 |
| «До пункта Б ещё далековато...» | 10 |
| «Всё длится. Изо всех античных сил...» | 11 |
| «Я и не помню... Давид и Вирсавия...» | 12 |
| «Горемычное дерево бледную ищет зарю...» | 13 |
| «Поэт подвальный, некогда опальный...» | 14 |
| «Московский снег язык таджикский понимает...» | 15 |
| «Утром меня отводят в детский сад...» | 16 |
| «С головою, измазанной мелом...» | 17 |
| «Опираюсь на подоконник...» | 18 |
| Отвори потихоньку | 19 |
| «Ангелы не меряются крылами...» | 20 |
| «И, обратив глаза к реке...» | 21 |
| «Как холоден ветер с лесистого склона...» | 22 |
| «Всё это чудо — затея с планетами...» | 23 |
| «Родился я средь северных широт...» | 24 |
| «Помнишь? Маялись, недоедали...» | 25 |
| «Грановито пожил, даровито...» | 26 |
| «В дешёвом кримплене, в креплёном вине...» | 27 |
| «На октябрьские купим вина и нажарим картошки...» | 28 |
| Вечерний пейзаж | 29 |
| «Когда меня из жизни выдует...» | 30 |
| «А как пали-упали большие снега...» | 31 |
| «Слышишь, шали прошуршали...» | 32 |
| «Давно набила кислую оскомину...» | 33 |
| «Одинокий поезд на мосту...» | 34 |
| «Дождаться — упадёт звезда...» | 35 |

| | |
|--|----|
| «Мне бы домик подле храма...» | 36 |
| «Канторка высилась, как аналой...» | 37 |
| 1961 | 38 |
| «Не оглянешься, как эти годы...» | 39 |
| «У нас пригрелся новый год...» | 40 |
| «Дорога высветляет облик, имя...» | 41 |
| «Я на медные деньги учился...» | 42 |
| «С утра — домашний или уличный...» | 43 |
| «Жизнь идёт и шла одним манером...» | 44 |
| «И Царским Селом, и орлиным пером...» | 45 |
| «В дальнем свете, на другой планете...» | 46 |
| «День останавливает бег...» | 47 |
| «Ты говоришь: придут лихие дни...» | 48 |
| «Вот из этих краёв, где застали меня...» | 49 |
| «До чего ж неохота пудовых...» | 50 |
| «Всегда есть память и вина...» | 51 |
| «На просторы двенадцати метров...» | 52 |
| «Надёжный быт больших стихотворений...» | 53 |
| «Человеку плавать не пристало...» | 54 |
| «Волн сияет черепаца...» | 55 |
| В конце лета | 56 |
| «Лес заткан узкими тропинками...» | 57 |
| «Как хорошо на родине. Как тихо...» | 58 |
| «Сперва сказала акушерка...» | 59 |
| «Старик лежал. Старик жужжал...» | 60 |
| «Плечом к плечу, в руке рука...» | 61 |

Вадим Жук. Такой человек

возрастная категория 16+

редактор:
Александр Переверзин

дизайн:
Антон Чёрный

корректор, технический редактор:
Ольга Тузова

издательство «Воймега»
voymega@yandex.ru
alkonost.mail@gmail.com

Подписано в печать 20.08.2019
Формат издания 60х90/16. Усл. печ. л. 4.
Тираж 500 экз.

ISBN 978-5-6042671-9-6



9 785604 267196

Вадим Жук – поэт, актёр, сценарист. Родился в 1947 году в Ленинграде. Окончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа. Служил актёром в театрах, снимался в фильмах А. Сокурова, И. Масленникова, В. Хотиненко, А. Борщевского, работал ведущим на радио и телевидении. Публиковался в журналах «Знамя», «Арион», «Звезда», «Октябрь», «Новый мир» и других изданиях. Автор поэтических книг «Стихи на даче» (2007), «Жаль-птица» (2014), «След в след» (2016), «Ты» (2016), «Эти и другие стихи» (2018), «Угол Невского и Крещатика» (совместно с Татьяной Вольтской; 2015) и других. Лауреат литературной премии «Петрополь», Царскосельской премии, премии фестиваля «Крок» за лучшую драматургию и других. Живёт в Москве.

ISBN 978-5-6042671-9-6



9 785604 267196